

Попытка мемуара: об одной странности персонажной системы мемуаров

И.В. Чиннова

Дворецкая Инна Андреевна

Аспирантка Даугавпилсского университета, Даугавпилс, Латвия

Вообще история с мемуарами И.В. Чиннова содержит достаточно парадоксов. В первую очередь, стоит напомнить, что собственно мемуаров, то есть завершенного текста, книги воспоминаний, в творческом наследии Чиннова нет. Несмотря на появление мемуарных фрагментов в интервью, в поздних статьях, в устных комментариях к архивным материалам, мемуарные заметки Чиннова, начатые им в 1973 г., были брошены практически на полуслове. На фоне того огромного потока мемуаристики, который породила русская эмиграция первой волны, это кажется особенно странным.

Причины того, почему в творчестве Чиннова мемуарный жанр не сложился, проясняет структура мемуарного отрывка, который, при всей своей незавершенности, позволяет определить текстопорождающий механизм. В основе данного мемуарного текста – два разнонаправленных начала: элегически-ностальгическое, типичное для эмигрантской мемуаристики, и направленное на него пародийно-игровое. С одной стороны – актуализация памяти, обращение к ушедшему прошлому, с другой – подчеркивание условности, необязательности всего описываемого. Возникающее между данными элементами напряжение определяет крайнюю неустойчивость, двойственность текстовой структуры, что и стало одной из причин незавершенности.

Двойственность данного мемуарного текста обусловлена тем, что Чиннов строил его на основании, изначально противоположном природе жанра. Традиционно мемуары направлены на воссоединение времен, на поиск объединяющей отдельные факты биографии основы: итогового «сюжета жизни» [Савкина 17], «единой линии» [Эренбург: 346], «возвращающихся тем» [Берберова 265], что и делает мемуары средством борьбы против забвения и всепожирающего хода времени. Чиннов же актуализирует противоположные смыслы: разрыв связей, невозможность воскрешения прошлого. Наиболее ярко одиночество «я» и отчужденность мира проявляет персонажный уровень.

Особую роль играет не декларируемое явно, но композиционно выраженное противопоставление персонажей-людей (представители родов матери и отца Чиннова) и персонажей-животных. Больше пространство занимают и как будто более значимы персонажи-люди. Но именно здесь и возникает парадоксальная ситуация. Во-первых, удивительно мало сказано о родителях, хотя сам Чиннов заявляет, что, в отличие от времени и места, родителей себе «выбрал правильно» [Чиннов II: 74], то есть дело не в конфликте отцов и детей. Стоит заметить, что и в лирике Чиннова они не появляются, но отсутствие подробных портретов родителей и в мемуарном тексте, предрасположенном к освещению семейного уклада и рассказу о членах семьи, имеет характер «минус-приема». Такая невыраженность присутствия самых близких людей оставляет главного героя, мальчика Ирика Чиннова, один на один с миром.

Во-вторых, портреты предков, значительно более определенные, но и значительно менее приятные в большинстве своем, возникшего одиночества не преодолевают. Связано это с мотивом воинственности и чванства. К силе человеческой власти Чиннов вообще относится с большим сомнением. В лирике именно имена политиков, императоров легко соединяются с названиями хтонических животных («Лемуры-Ликурги» [Чиннов I: 437]), а после 1973 г. «имперский» ряд неизменно сопровождается мотивом забвения: лирический герой забывает имена фараонов, перепутывает «крылатые слова» и их авторов, лицезреет обломки невечных империй. То, что позже подвергается сомнению и забвению на уровне мировой истории, в мемуарах продемонстрировано на уровне связей родственных, когда предки оказываются далекими и чуждыми. Поэтому экскурс в прошлое рода завершается

выводом, декларирующим разрыв родственных связей: «Но кровное родство самое неубедительное» [Чиннов II: 76].

Более близкими становятся персонажи-животные, описанные с большей любовью, чем некоторые родственники. Более того, именно с ними связан ряд ключевых образов и мотивов художественного мира Чиннова. Черная кошка и обезьянка, вытягивающая предсказания судьбы, объединены двумя элементами: связью с образом судьбы, очень важным для чинновского сознания: знак обреченности – кошка перебежала дорогу; и судьба-обезьянка – важное звено на пути превращения в лирике «Планиды-судьбы» в «злую Смертушку презлую, Душегубушку» и в «Рока-шизофреника» [Чиннов I: 236, 514, 437]; а также использованием деминутивов (применен тот прием одомашнивания мирового ужаса, что позже в лирике приведет к «Стиксику», «Летушке», «Харонушке» [Там же: 477] и пр.). Наконец, именно яркий попугай произносит в мемуарах слово «ерунда», ключевое для игрового пласта лирики Чиннова, лирики «абракадабры» [Там же: 399], «чепухи» и «шуточек и штучек» [Там же: 380].

Таким образом, персонажный уровень мемуаров Чиннова демонстрирует разрыв связей времен, родственных уз и выдвижение на первый план категорий игры (судьба как игра случая, воля темных сил) и ни к чему не обязывающей ерунды. Совершенно естественно, что на констатации этого мемуарный порыв Чиннова закончился.

Литература

Берберова Н. Н. Курсив мой. М., 1996.

Савкина И. Автобиографические формы, их границы, их трансформации в современном контексте // Русский мемуар. Соавторство. OPUS # 1. Вильнюс, 2005. С. 15–33.

Чиннов И.В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2000–2002.

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь: В 3 т. М., 1990. Т. 3.